

ПАМЯТЬ

Татьяна Михайловна Глушкова в конце 1980-х – начале 1990-х годов была постоянным автором “Нашего современника”. Она публиковала на страницах нашего журнала, кроме своих стихотворений, такие фундаментальные, резкие, боевые публицистические статьи, как “О “русскости”, о счастье, о свободе”, “Хищная власть меньшинства”, “Боюсь, как бы история не оправдала меня...” (о Константине Леонтьеве). Её слово было тогда крайне необходимым в той борьбе, которую вёл журнал с повсеместно насаждавшейся русофобией, с теми зачатками социального расизма, который через несколько лет расцвёл махровым цветом в средствах массовой информации. И в это же самое время всё более и более ощущалось её противостояние линии “Нашего современника” на соби́рание воедино всей отечественной истории, раздираемой тогда на куски.

Со многими нашими авторами мы не соглашались тогда по принципиальным моментам, публикуя при этом их сочинения, рассчитывая на серьёзный диалог, на животворную дискуссию, многое могущую прояснить и в истории, и в современности. Критики, публицисты отчаянно спорили на наши страницы друг с другом, при этом признавая необходимость высказывания противоположной точки зрения по многим моментам. Время было острейшее, чреватое катастрофой, которую мы всеми силами стремились отодвинуть от нашего порога. Наверное, не было тогда более свободного в этом отношении журнала, чем “Наш современник”. Другое дело, когда иные авторы переходили грань в своих претензиях к друг другу и к журналу. Тогда с ними приходилось расставаться с нелёгким сердцем. Так, увы, произошло и с Татьяной Глушковой.

Свои статьи она писала “силой яростного ума”, как признавалась в одном из писем. Ярость, когда сдерживаемая, а когда всё более вырывающаяся наружу, – отличительная черта её публицистики тех лет. Точнее было бы сказать о страсти, временами переходящей в ярость. Беспристрастным хладнокровным аналитиком Татьяна Михайловна быть просто не умела.

Статьи Глушкова писала пространные, многословные, введливо анализируя взгляды и эволюцию своих противников или бывших союзников, которых она в один прекрасный день переставала считать таковыми. И когда к взгляду пристрастного, но подробного и вдумчивого аналитика примешивалось нечто личное, продиктованное якобы или в действительности недостаточным вниманием к её оценкам и прогнозам – тут начиналась полемика ради самой полемики.

Атмосфера в этот период, когда в России царил “пир победителей” – стервятников была такова, что любой раскол, любые нестроения в нашем стане болезненно, а то и смертельно отзывались в душах многих и многих людей. Но было ощущение, что Глушкова уже не могла остановиться. Поношения журнала “Наш современник” печатались в журнале “Молодая гвардия” и в газете “Завтра”. Поношения “Молодой гвардии” – в газете “Правда-5”. В той же газете и в газете “Русский Собор” – поношения “Советской России”. В “Завтра” – поношения “Русского Собора”. В “Независимой газете” – поношения газеты “Завтра”. По сути, вокруг Татьяны Михайловны в последние годы осталась выжженная земля. Выжженная её же собственными руками.

“Наша трудная подруга” – так озаглавил некролог, посвящённый ей, Владимир Бондаренко. Общение с ней, даже в период благодушия и душевной открытости, действительно, стоило немалого труда. Она была удивительным собеседником, чьё напряжение и богатство мысли и языка лишь в малой степени передавали её печатные работы. И в то же время приходилось волей-неволей ожидать какого-либо выпада, подчас основанного на придуманном ей самой посыле, но заключённого в безупречную логическую форму.

...Всё меньше и меньше остаётся людей из того поколения, поколения ярких творцов, бескомпромиссных борцов на русской ниве. Всё их пристрастие, вся их несправедливость уходит за дымку времени. Остаются с нами их труды, их тексты, долженствующие войти в патриотические хрестоматии для будущих поколений. Останутся в ней лучшие стихотворения и статьи Татьяны Глушковой, которую мы вспоминаем добрым словом в день её восьмидесятилетия.

НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА

МУЗА С КРАСНЫМИ КРЫЛЬЯМИ

(К 80-летию Татьяны Михайловны Глушковой)

“Татьяна Михайловна Глушкова умерла на первой пасхальной неделе первого года нового тысячелетия. Милосердная христианская традиция сулит людям, уходящим в свете Пасхи, горние обители и высокое успокоение. И, кажется, немногие в поколении Глушковой были более достойны этих редких даров, чем она, потому что немногие жили в таком духовном напряжении”, — этими словами начинается статья Валентина Курбатова “Своя от своих”, предваряющая поэтическую книгу Татьяны Глушковой “Не говорю тебе прощай...” (М.: Молодая гвардия, 2002). Такое утверждение может вызвать недоумение у многих — ведь слова эти сказаны не только об одном из самых ярких представителей литературы последней трети XX века — критике, публицисте, поэте, мыслителе, — но и об одном из самых спорных и сложных литераторов, с которым связаны серьёзная полемика, до сих пор не прошедшие и совсем не пустые обиды друзей, соратников, единомышленников — людей бесконечно талантливых, внесших большой вклад в русскую литературу и лично для меня, да и для многих никак не менее уважаемых, чем Татьяна Михайловна Глушкова. И всё же, оставив давние споры и не берясь творить суд, скажу, что, на мой взгляд, в творчестве и жизни Татьяны Глушковой есть нечто такое, что заставляет с пониманием и вниманием принять слова, сказанные Валентином Курбатовым. В судьбах настоящих писателей и в лучшем, что они создали, всегда есть нечто настолько удивительное и драгоценное, что заставляет оставить в стороне всё временное, земное, и вглядеться в главное — в проявление Божьего Промысла о человеке, в Божьи Дары и в удивительные вызревшие творческие плоды.

Наблюдение за любым писателем сквозь волшебную призму его творчества и, тем более, за поэтом через его поэзию позволяет понять не внешнюю, житейскую, отягчённую земным, а внутреннюю суть его судьбы, Божий замысел о человеке, ибо поэзия для поэта и есть сокровенное, тайное движение его души к вечному. Так происходит и с Татьяной Глушковой — и даже беглый, неподробный взгляд на её поэтическую судьбу, на широкое медленное и вольное течение её внутреннего поэтического “Днепра”, её “Иордана” от Софии Киевской к Небесному Граду, на мой взгляд, представляет достаточно редкую возможность попытаться увидеть то, что обычно творится прикровенно и о чём нам, грешным, и рассуждать-то не по чину, — как обычному человеку, не священнику и не монаху, даются Божии дары, как они живут и раз-

виваются в человеке, как образуют сердце и суть его судьбы, как творится Промысел Божий.

Детство Татьяны Михайловны Глушковой прошло в Киеве, где ребёнком она пережила оккупацию, а позже и смерть родителей. В её детстве “всё называется: война. // Всё называется: “под немцем”. // Под ним – и осень, и весна, // и две зимы, и та сосна, // и этот луг, и страх под сердцем...” Медленный детский созерцательный взгляд скользит, фиксируя мельчайшие подробности и детали происходящего: “Там снаряд, говорили, упал, // он воронку на площади выел”; “А мне туда и близко не велят... // Там поживают мёртвые солдаты. // Там, говорят, в дурмане мины спят // и рвутся, без войны уже, снаряды”. А надо всем этим – в уже освобождённом Киеве – “чёрной печали тарелка” и “...гордые радиосводки – // после Курска и после Орла. // И ни крохи у нас, ни щепотки // хлеба, соли – зима подмела!” Но ещё выше – над чёрным репродуктором, над разорённым войной Киевом, над мрачным Днепром – золотые купола Лавры и Софии. “Когда – какие вольные подарки! – // печалью печали утоля, // смотрела в синь сквозной Софийской арки, // а дале были минные поля”. София Киевская, Лавра неизменно вырастают над детством и над войной, высятся над нею своими куполами. “Днепра недобрая вода, // руины Лавры над рекою”. “И вырастает многоглавый дом – // он звался родиной, он равен был Отчизне...” Золотые купола Софии и Лавры сияют и над долгожданной Победой: “Всё называется: весна. // Всё величается: победа, – // и пчёлы золотого лета // летят, не гаснут дотемна”. “На широте громадного Днепра, на высоте обугленной Софии” запечатлелось в душе главное, что определило характер и судьбу поэта. Что происходило в Софийском соборе, когда сначала ребёнком, а потом подростком Татьяна Глушкова всматривалась в лик древней Оранты, – навсегда останется тайной. Божьи пути творятся прикровенно. Но ничего не бывает случайно. А древние святые часто меняют судьбы прикоснувшихся к ним людей. И уж тем более не могут быть случайными совпадения в глубинной сути происходящего. “Дары божьи”, “таланты”, щедро проявившиеся позже в Татьяне Глушковой, в представлениях православной традиции всегда связаны с Софией – Премудростью Божией. Дар слова и дар яркого, художнического видения мира, дар лирического восприятия действительности и дар острого критического ума, дар прозорливого публициста и философский дар к постижению гармонических “связей” между явлениями – путей устрояющей весь мир Софии. Ведь сказано: “Премудрость поможет мудрому” (Еккл. 7, 19) и: “Премудрость, художница всего” (Прем. 7: 21). В Православии Премудрость Божия – это и София Троица, и София Христос, и вместившая в себя Бога Слова Богородица, Дом Софии, и земное воплощение Софии – Церковь Христова. Премудрость, сотворившая мир, творящая души, судьбы и дороги. Война и Победа, встреченная под куполами Софии Киевской, в сознании Татьяны Глушковой навсегда слились со святостью. И определилось главное в её характере и мировоззрении – мудрость мира была для неё в крепком состоянии, а единственные потери, на которые никогда не могла согласиться её душа, – это потеря Родины и потеря Победы. Всю жизнь она жила русским словом, пламенеющим желанием правды и постижения истины вопреки всему и любой ценой. Ведь не зря в каноне Софии, Премудрости Божией, поётся: “Концы вселенная, и вся, яже на ней, и небо небесем Премудрость основа, Та бо всех нас созда, Тою цари царствуют, и сильнии держат землю, и мудрые пишут правду”.

В творческой судьбе Татьяны Глушковой София Киевская возникает сразу, отчётливо и судьбоносно: это первое жизненное поражение и первая поэтическая победа. “София Киевская” – так называлась дипломная работа, предоставленная выпускницей Литературного института им. М. Горького в качестве диплома: “...над водой, над горой, над тёмной зеленью кружит цветом молодого золота купол Софии. Её пошадил даже война. Её знают здесь все. И не замечают. Но если бы её вдруг не стало, город бы опустел”, – писала Т. Глушкова в предисловии к своему поэтическому циклу. “Я буду камень слушать в эту ночь, // пока рассвет взбирается по круче, // пока по кругу, медленному кругу // плывет на юг холодная звезда...” Вслушивание в камни древней святости – вслушивание в невидимые пути и потоки, творящие мир, в полноту мира, в неслышимый простым ухом голос Премудрости Божией: “...и только потом я поняла, что камни – это память о людях, что прикаса-

лись к камню руками, прикладывали к ним свой разум, воплощали в нём любовь, горечь, бунт. И тогда слово “предки” я стала понимать как “отцы”. Столетия сдвинулись, и даже самые дальние перестали быть пропастью за спиной”. А ещё в том же поэтическом цикле возникает воздевшая руки к Небу древняя киевская Оранта – Богоматерь, “Молящая”, “Нерушимая стена”: “...Оронта! // Оронта, // Оронта! // Руины // и раны // отмолит, омоет // Мария Оронта!..” В древней иконописи Премудрость часто изображалась как Оронта. Верно это и для Софии Киевской: “...но где же в Софийском Соборе то, что сызначала дало ему имя, – где главная святыня его?.. Этою основною соборною святынею является палладиум Киева – славная и чудодейственная “Нерушимая стена” <...> отсутствие Младенца, воздетые руки, вся постанова тела до такой степени приближают “Нерушимую стену” к Оронтам древнейшей христианской иконописи, что делается несомненным, что в “Нерушимой стене” Богородица представлена как Оронта, т. е. выражает ту же идею, что и древние Оронты... “Нерушимая стена” есть монументальное изображение Церкви... изображение невестственного дома Софии Премудрости Божией” (П. Флоренский. “Столп и утверждение истины”). Защита диплома проходила в 1965 году, во время гонений на христианство и разрушения церквей, и в поступке молодой Татьяны Глушковой сразу проявились главные черты её характера – безоглядная смелость, умение разглядеть в переплетении многих событий самое главное и стоять за него до конца. Была ли Татьяна Глушкова в ту безбожную эпоху, как теперь принято говорить, “воцерковлённой” верующей? Как и большинство советских людей – нет. Но и неверующей, как любого поэта, её назвать нельзя. Ей ещё предстояло пройти путь ко Христу. Но разве стремление к добру, красоте и истине – не путь к Богу? Стихотворный цикл о святые детства для начинавшей в то время увлекаться древнерусской архитектурой Глушковой был главным, принципиально важным поступком. А дальше произошло неизбежное. Известнейший в те годы поэт, руководитель семинара Илья Сельвинский в защите диплома Татьяне Глушковой отказал. Институт она окончила со справкой. Но от стихов о Софии Киевской не отступилась. А потом произошло чудо. Через полгода Т. Глушкова защитила диплом, причём на “отлично”. Её поддержал Сергей Сергеевич Наровчатов, отметивший, что стихи её связаны между собой чувством, которое мы сухо называем русской темой, и по-хорошему национальны без чванства и ненужной полемичности.

Но ничего не стоили бы эти внешние приметы судьбы, если бы дары, связанные в православной традиции именно с Софией – Премудростью Божией, ясно и ярко не проявились в характере, творчестве и мировоззрении Татьяны Глушковой. Сама Глушкова всегда осознавала особенности своих дарований и говорила об этом открыто: “Но я всегда умела посмотреть // ясней, чем вы, задумчивей и шире. // Но что-то есть в моём гремучем мире, // о чём сказать больней, чем умереть”. Татьяна Глушкова стала не только поэтом – она выросла в острого и тонкого, подчас провидчески зрячего критика, мыслителя и публициста. В центре её исследований – русская литература, русская культура и русская философия, прежде всего, – Пушкин и Константин Леонтьев. Круг вопросов, которые её интересуют, удивительным образом совпадает с традиционным церковным мировосприятием. В мировоззрении, поэзии и жизни главное для неё – традиция. Она – “совесть поэзии”: “Отношение между талантом и традицией я выразила бы так: *талант – это способность быть в традиции*. Мера таланта – это мера природной, органической сращённости с традицией. Талант – традиционен. Он обречён на традицию, немислим вне её” (Татьяна Глушкова. “Традиция – совесть поэзии”, 1977-1978). Её статьи о Пушкине превращаются в вечный гимн верному Божественной Мудрости пушкинскому Моцарту и вечное порицание отпавшего от Божественной Любви пушкинского Сальери: “Судьба Моцарта движется поверх его смерти, поверх этого мига, который для убийцы Моцарта есть “звёздный час”. Ибо Моцарт неубиваем, как неубиваем дух. Неспроста даже и Сальери нечаянно уподобляет его “некому херувиму”, то есть именно нетленному, бессмертному существу” (“Притча о Сальери”, 1981). А вот что пишет Татьяна Глушкова о гармонии в понимании Пушкина и Константина Леонтьева: “Перед нами – именно космичное мышление, для которого космос – не афористическая, пусть и безмерно громадная, сумма слагаемых (малых слагаемых мира), но, по сути, и каждое из них, участвующее во всеобщей связи. Космос предста-

ёт здесь именно как система связей – вертикальных, горизонтальных, антагонистических и дружественных, но созидающих вместе некую структуру” (“Высшее единство в высшем разнообразии”. О философии гармонии у Пушкина и Константина Леонтьева), 1997). Это космичное мышление, к которому стремилась сама Глушкова, говоря языком Православия, и есть стремление понять и познать пути устрояющей мир Премудрости Божией. Для Глушковой мудрость художника, устремлённого к Премудрости, никогда не была мудростью философов конца XIX – начала XX веков, с коими (в частности, Соловьёвым и Бердяевым) позже она много спорила в своих работах. В её мировосприятии поэта Премудрость так и осталась живым даром Живого Бога, коснувшегося её когда-то в военном Киеве, великой живой силой, устрояющей мир, – Софией Троицей, Софией Христом, вместившей творящее мир Божие Слово Богородицей – Орантой, в тысячелетней молитве воздевшей руки над Киевом и Днепром, над жизнью и смертью, над войной и Победой.

“Всею, кого не убила война”, вышла не только великая свобода, но и жизнь – с особыми остротой и трепетом ценимое и воспеваемое бытие. Свет Софии не оставлял Татьяну Глушкову никогда, и что, если не посыл к постижению истины, были её бесконечные штудии Пушкина, Блока, русской классики и мировой литературы, работа в Михайловском, поездки по древним русским городам, желание изучить и понять до глубин Россию, увлечение славянофилами, поиск связей в русской истории и культуре, поиск *полноты* бытия, а значит, поиск *гармонии*, всеобщего *космичного* мышления. Очень верный и точный портрет Татьяны Михайловны Глушковой тех лет дал Сергей Куняев в своём послесловии к составленной им уникальной книге статей Татьяны Глушковой “О “русскости”, о счастье, о свободе” (М.: “Алгоритм”, 2016): “Её печатные работы лишь в некоторой степени передают напряжение и богатство мысли и языка, воплощавшееся в беседах о русской классике. Разговаривать с ней о поэзии, о писательских судьбах было подлинным наслаждением. В самых рискованных посылах, сопоставлениях, в самых агрессивных оценках, в самых пристрастных заключениях она была логична и артистична, словно продолжала традицию литературных “table-talk’ов”, идущих с начала XIX столетия. В юности, проникнувшись пушкинским духом и ощущением пушкинского бытия во время работы экскурсоводом в Михайловском, она как будто следовала сверхзадаче создания гармоничного единства поэзии, устной речи и эпистолы как единого текста...” Обращает на себя внимание определение, данное Сергеем Куняевым жанру, в котором работала Татьяна Глушкова: “Впрочем, Глушкова подходила к явлениям литературы не как критик и, тем более, не как историк литературы. Скорее здесь можно и нужно говорить о видении глазами поэта. Но поэта, видящего настолько пристально и читающего настолько вдумчиво, что подобной вездливости могли бы позавидовать иные профессиональные учёные. Во всяком случае, её прочтение Пушкина провоцирует говорить о ней не как об исследователе, а как о собеседнике”. Наблюдение принципиально важное: именно *беседой*, вдумчивым *диалогом* с великими мира сего, который постоянно дерзала вести через века и пространства Татьяна Глушкова, объясняют-ся многие особенности её творчества.

А такие беседы не проходят бесследно. В её поэзию властно входит отмеченная когда-то Наровчатовым русская тема. Киевская Русь детства возрастает и расширяется до пушкинской великой державы. Стихи семидесятых-восьмидесятых – это созерцание русской жизни, медленное, как родной равнинный Днепр, текущий к своей высокой Небесной цели – любованию Михайловским, дворянскими усадьбами, Псковом, Новгородом, Прибалтикой, Москвой. Татьяна Глушкова – верная ученица и последовательница русских классиков. Она – мастер стиха, стремящийся к классической ясности и прозрачности. Глушкова существует внутри живой традиции. Поэзия её – постоянное вслушивание в камни русской истории, беседа с “предками”, которые в вечном свете Киевской Софии давно стали для неё “отцами”, как стали родными все ушедшие тысячелетия. И, конечно же, это нескончаемый диалог, непрекращающаяся живая беседа с русскими поэтами. В стихах много реминисценций, переключек, скрытых цитат из Пушкина, Некрасова, Тютчева, Фета, Блока, Бунина, Ахматовой. Но при этом перед нами – живая речь современника со своим, ярко очерченным, ни на кого не похожим стилем, языком и миром. О чём бы ни писала Татьяна Глушкова – это всегда Россия,

“...земля, в которую сойду, // которая в наследство мне досталась...” Стихи её – бесконечное любование Россией в мельчайших её деталях и проявлениях. Глушкова словно стремится к леонтьевскому пониманию гармонического, к полноте, высокоразвитости жизни, к стадии цветения “полнокровно вызревшего явления”. Сколько разных пейзажей приходит со страниц её книг! “Что за ночь! Соловьиное пенье, // в небесах – молодые огни, // сам Господь голубые сирени // рисовал в этой влажной тени. // Сам Господь, позабыв про заботу, // как дитя, затаясь в лопухах, // в курслеп рассыпал позолоту, // оставляя жемчуга на ветвях”. Сколько всяческих тварей приходит к читателю – копошащихся, жужжащих, поющих, свистящих: совы, мыши, стрекозы... И непрестанный шум черемухи, бурьяна, овсов... “Эта жадность к тому, что живёт: // обонять, услышать, наглядеться – // сводит скулы, и стиснут мой рот // прозорливо скрытностью детства...” Тут и кучерские усы овсов, и “черемуховый ветер”, и медленная сова, и “козлёнка вздыбленная тень: рогатый нимб над головою”. Зачастую в этом самовластном, захлестывающем потоке живого теряются, размываются мысль или цель написания стихотворения, возникают длинноты. И вместе с тем создаётся впечатление, что не образность тут главное – перед поэтом стоит куда более невозможная задача: *явить, живыми* перенести в стихотворение этих многочисленных равноправных собеседников и соседей по бытию. “Бог мыслит вещами”, как говорил П. Флоренский. И на поверку оказывается, что не теоретические размышления, а сияющий поток бытия, бессознательное подражание Творцу и есть попытка подняться до высшего возможного проявления мысли – смысл и цель написания стихотворения.

И всё же поэзию Глушковой семидесятых-восьмидесятых я не назову вершинной точкой её творчества. При редкостно высоком поэтическом уровне внутренняя свобода лирического полёта даётся ей не всегда, её ещё не опалило высоким огнём, в котором сгорает ненужное земное, – иногда стихи льются бесконечным потоком, где каждая строфа – хороша, но развития, внутреннего движения подчас не происходит. Но лучшее, написанное в это время, безусловно, заслуживает самых высоких похвал и самого серьёзного разговора. Лучшим стихам Татьяны Глушковой этого периода присущи афористичность и жёсткость, умение без иллюзий, предельно честно, посмотреть на самые горькие вещи: “Нелюбимая – телом страшна, // нелюбимая – слишком зазорна. // Нелюбимая – слишком вольна! // Нелюбимая – слишком покорна!” Трагическая любовь – извечная плата за стихи. Психологические наблюдения в любовной лирике точны, речь льётся свободной волной, а лирическое чувство зашкаливает, переливаясь за край. Сильный характер лирической героини зачастую неожиданно мягок и уступчив, ради любви она готова платить и терпеть. Трагедия судьбы, “недоли”, часто переживается “от противного”, и трудно сказать – смирение или гордыня, бунт или покорность – это пристальное вглядывание в неосуществившееся, жёсткое обозначение вещей такими, какие они есть: “Помилуй: это ли – обида, // проклятые дней, трезвон ночей, // что я избавлена от вида // смятенной дочери моей?” В стихах – характерное для поэтов осознание одиночества, своей инакости в мире: “... И я не стала ни сестрой, // лицом похожею на брата, // ни той покорною женой, // что перед Богом виновата, // и ни возлюбленной – меня // лишь одиночеством дарили: // бежали, словно от огня, // и, охладев, боготворили”. Вместе с раздумьями о судьбах поэтов и поэзии в стихах неизбежно врывается трагический голос времени: “Этот русский анапест, что плачет во имя любви, // в тёмной шали крест-накрест, живёт не в эпохе – в крови. // А эпоха ему не соперница и не жена: // ничего-то не ведает в лунах и струнах она!” Всё сильнее предощущение надвигающейся трагедии, личной беды, вместе с точным определением творящегося в стране приходит ощущение катастрофы, нависшей над Родиной: “Я стою на порубке, а слышу и шелест, и свист: // кто погиб не на шутку, особенно нынче речист. // Эта мощь, эта слабость – ужели для жизни дана? // Наливай же, анапест, щербатую чашу вина!” А вместе с предощущением надвигающейся катастрофы оживает оставшаяся в послевоенном Киеве “чёрной печали тарелка”: “Эта грусть не сейчас родилась. // Это звякнул “Георгий” в коробке. // Это льётся над Родиной вальс, // заливая Маньчжурские сопки”. Стихотворение “На сопках Маньчжурии”, посвящённое И. Козловскому, одно из лучших у Татьяны Глушковой. Пять строф, вместивших в себя и судьбу поэта, и горькую печаль русской истории:

*А в окне столб луны голубой —
словно хлынуло море на сушу.
Бескозырки плывут чередой
по мою сухопутную душу.*

*Далека ты, родная земля,
не видать в этом жёлтом тумане.
Гаолян покрывает поля,
точно сплю я сама в гаоляне.*

*Это с чёрной тарелки певец —
с чёрной пахоты, из-под Полтавы...
Где ж ты, лирник, рыдальщик, гонец —
вестовой нашей горестной славы?*

Знакомые с детства звуки. Минуты лирической грусти. Последние мирные годы в советской России, в ещё не разрушенном СССР. За мгновение до крушения, за мгновение до стояния у Креста. “Победные сводки” детства, лившиеся из “чёрной тарелки”, уходят навсегда вместе с послевоенной эпохой и стареющими солдатами великой Победы, уступая место вестнику “горестной славы”, высокой печали и близящейся беды: “Под конец еле слышен рассказ, // заносимый песком и метелью... // Это льётся над родиной вальс — // над твоей и моей колыбелью”.

Но высшее проявление Премудрости Божией — добровольная Жертва Христа, Крест, Голгофа. Не случайно на киевских иконах Софии “Премудрость созда себе дом” центральная фигура Богородицы с молитвенно воздетыми руками часто заменяется Распятием. Самая высокая мудрость, доступная человеку, — сораспятие Христу, участие в Его Страданиях, стояние у Креста Христова. Девяностые годы для Татьяны Михайловны Глушковой и стали таким стоянием у Креста Христова и Креста распинаемой России, временем болезни и труднейших испытаний. Была она в своём стоянии не одинока. Какой огромный подвиг совершили в те годы все русские писатели, которые в информационной войне, войне умов, войне словом оказались солдатами на передовой и сознательно, в прямом смысле шли на смерть за свою страну — отдельный, долгий и очень важный разговор. Солдатом на передовой сражалась в те годы и Татьяна Глушкова. В начале девяностых, больная, измождённая страшными болями, от которых не всегда помогали обезболивающие, она, превозмогая недуг, писала провидчески зоркие публицистические статьи и стихи. Каждая её публикация становилась событием. Главное, что волновало её тогда, — вопрос сохранения СССР. Выводы её публицистической аналитики горько точны, а приговоры разрушителям страны — бесповоротно безжалостны: “Референдум насчёт сохранения государства... направлен на растление созидательного духа народа, извращение его психики. Ведь он понуждает переводить в план голосования, в план юридического пересмотра... само патриотическое чувство...” (“Хищная власть меньшинства. Над строками “Парижской хартии для новой Европы”, 1990-1991). Развал СССР Глушкова рассматривает с позиций русской истории, русской государственности, нерушимой христианской нравственности и вечно сиявшей ей из детства Победы: “К этому можно добавить, что вынесенный на референдум вопрос — о целостности государства — до сих пор никогда не решался посредством голосования... Что ставился он в его проблематичном, его отрицательном смысле обычно не изнутри, а извне государств. Что последний раз он был поставлен относительно нашей страны в 1941 году гитлеровским вермахтом, и известно, какой, скреплённый кровью десятков миллионов людей, безоговорочный ответ дан был тогда русским народом вместе со всеми народами СССР”.

Для поэта, всю жизнь писавшего лирику, обращение к публицистическим стихам зачастую проходит болезненно и грозит неудачами, это “понижение жанра”, уход от высот гармонии к “презренной прозе” земного. Но не для Глушковой. Для неё, вслед за Леонтьевым, гармония “не что иное, как процесс борьбы — вопреки идеалу успокоения, идеальному успокоению в “райском блаженстве”, на какое наивно уповают “розовые” гармонизаторы...”

(“Высшее единство в высшем разнообразии”). Стихи девяностых резко отличаются от стихов предыдущих десятилетий – боль, вызванная предательством и разрушением Родины, в Татьяне Глушковой настолько сильна, что она забывает о поэзии как об искусстве, и если форма тут безусловно хороша, то только из-за серьёзных достижений и наработок прошлых лет. Как поэту форма в этих стихах ей не нужна и не важна, ибо это уже не стихи – кровь, идущая горлом. Публицистическая острота и раскованность в её стихах сливаются с простотой и ясностью речи, а напряжённое лирическое движение стиха, рождённое безграничными любовью и болью, сочетается с остротой ума и обширностью интеллекта. С телеэкранов обманутой, попранной, преданной страны плывёт к читателям собирательный образ нового героя – воина мировой информационной войны: “Человек с лицом комедианта, // с умными глазами изувера // говорил мне, будто слава Данта – // слава крестоносца-тамплиера... // Роясь в почве инославных родин, // для хулы на Истинного Бога // то взывал: “О меченосный Один!”, // то бубнил про дряхлого Сварога”. Информационная война по самой природе своей противоположна всем сражениям прежних времён, ибо победа в ней достигается не личными подвигами и доблестью, а *лживым словом*. Но в войне, введущейся против России *лживым словом*, главным врагом и тайной целью может быть только Бог Слова, сердце России – Христос. Это война ада против Христа, тьмы – против света, Сальери – против Моцарта, предательства – против Победы, лжи преисподней – против Правды Премудрости Божией. Старый мир рушится, идущий ему на смену новый предапокалиптический мир – это уже не светлый мир Пушкина, а страшный мир Блока с холодом и мраком “грядущих дней”: “Но, покуда спали человеки // иль над Божьим Именем смеялись, – непременно вспучивались реки, // камни в тёмный воздух подымались... // Сын глумился над отцовым прахом, // дочь гнушалась матерью живою. // Разум одурманивали страхом // голод и дыханье моровое”. 8 декабря 1991 года вошло в историю как день подписания Беловежских соглашений. Без единого выстрела была разрушена великая страна. В те дни, превозмогая запредельную физическую боль, Татьяна Михайловна Глушкова продолжала работать на Победу. Как-то она сказала, что, если бы не физическая боль, она не смогла бы перенести душевную боль от потери Родины. В апреле 1992 года ею было написано стихотворение “Час Беловежья”:

*Когда не стало Родины моей,
я там была, где ни крупницы света:
заслонена, отторгнута, отпета —
иль сожжена до пепельных углей.*

*Когда не стало Родины моей,
я шла тропюю к Неземной Отчизне.
Но даже там, как на горючей тризне,
не пел волоколамский соловей...*

*Когда не стало Родины моей,
в ворота ада я тогда стучала:
возьми меня!.. А только бы восстала
страна моя из немощи своей.*

Самоотречение поэта и любовь к Родине сделали это стихотворение одним из поэтических символов тех трагических дней.

Последняя битва за СССР – страшные события 1993 года – для Татьяны Михайловны Глушковой область сверхчеловеческого напряжения с первого мига. В те дни, преодолевая болезнь, невыносимую физическую боль, она напряжённо следила за трагедией – читала всё, что писала пресса, разговаривала с участниками событий, спрашивала о впечатлениях и мельчайших деталях происходящего, переживала за выпускающую подпольные номера со свидетельствами расстрела редакцию газеты “День”. 31 октября 1993 года она написала по-тютчевски краткие и точные строки: “Всё так же своды безмятежно-сини. // Сентябрь. Креста Господня торжество. // Но был весь мир провинцией России, // теперь она – провинция его...” Пророческие

слова о поражении, катастрофе, горестной русской судьбе последующих десятилетий. Стихотворение называется “Воздвижение”. Происходящее фиксируется точно: отдавание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня приходится как раз на день расстрела — 4 октября. В феврале 1994-го в пришедшей на смену запрещённой “Дню” газете “Завтра” появилась огромная полосная подборка Татьяны Глушковой, посвящённая октябрьской трагедии 1993 года. Позже, в предисловии к книге “Всю смерть поправ”, Татьяна Михайловна Глушкова напишет: “Эти стихи сразу сложились в единую книгу. Книгу-реквием по погибшим в Останкине и Белом доме. Книгу-гимн мужеству павших. Книгу о Родине”. Реквием — понятие, для Татьяны Глушковой бесконечно важное. Многие страницы её исследований посвящены пушкинскому Моцарту. Его “Реквием” понимается ею как высшее проявление творческого духа и высшая подчинённость Божественной воле. Теперь скорбная честь написать реквием выпала ей. Очень точно сказал об этом поэтическом цикле Владимир Бондаренко: “И всё же я уверен, в русской поэзии Татьяна Глушкова останется, прежде всего, своими... поздними гражданственными стихами редкой силы напряжения, которые осознавались ею как поэзия последнего срока. Никто более в девяностые годы не смог перешагнуть столь дерзко и самоубийственно эту пропасть от пусть одинокого, но живого “я” до предсмертного апокалиптического “мы”, созвучного с октябрьскими баррикадами у Дома Советов” (Владимир Бондаренко. “Пламенные реакционеры: Три лика русского патриотизма”. М.: Алгоритм, 2003). Скорбная траурная строгость формы и смысла сочетается в этом поэтическом цикле с предельными открытостью и самозабвением. Резко публицистичные, обличающе-гневные стихи захватывают внутренним накалом сострадания, любви и бесповоротной готовностью принести себя в жертву ради России. Это неукоснительное следование традиции — такова Муза Гнева русской классики. Вспоминаются пушкинское “Клеветникам России”, лермонтовское “Смерть поэта”: “но вы не смоее всей вашей чёрной кровью...”, блоковские “Скифы”, ахматовский “Реквием”, но прежде всего, — знавший о невозможности “служить добру, не жертвуя собой”, Некрасов, который писал о назначении поэта в стихотворении “Пророк”: “Его ещё покамест не распяли, // Но час придёт — он будет на кресте; // Его послал бог Гнева и Печали // Рабам земли напомнить о Христе”.

Ярко, зримо, подробно, как всегда у Татьяны Глушковой, передаётся атмосфера тех трагических дней — летящие золотые листья, палящие танки, горящий чёрный Дом Советов, и — кровь, кровь, кровь: “Ещё встаёт за окнами рассвет, // еще струится осень золотая. // Но нет Москвы. А есть — воронья стая // над стогами страны, которой нет”. Перед нами — высшее проявление зла. Зрительные образы расстрела и погрузившейся в безысходный мрак Москвы страшны, они вплетаются в скорбную музыку прощания с погибшими, нарастают чёрной движущейся лавиной: “и вижу: труп плывет у парапета, // отторгнутый речною глубиной”; “не убраны в полях разливы хлеба. // Не убраны тела до Покрова”...

*Ни в воду вы не спрячете концы,
ни в грудь земли, ни в хляби небосвода...
Бредёт в острожном рубище Свобода,
ведёт коня слепого под уздцы.*

*.....
И слышу: танки валкие гремят
по старой Пресне — точно по Берлину!..
Нас гнут в дугу. А мы расправим спину.
Священным гневом горизонт объят.*

Можно ли было в послевоенном Киеве, под золотыми куполами Софии, вообразить такое: Наши танки, огнём святой Победы гремевшие по Берлину, палат по нашей Пресне! Трагедия воспринимается как перелом русской истории, русского сознания, окончательное прощание с СССР. Со свойственной ей широтой взгляда Татьяна Глушкова обращается к мировой классике. В адском грохоте танков, кумулятивными снарядами стреляющих по Дому Советов, возникает образ прошедшего кругами ада бессмертного флорентийца

Данта: “Но поутру, когда упал солдат // последний наш, и вроде – взятки гладки, // под окнами прошёл крылатый Дант // в пропахшей адским чадом плащ-палатке”. Образ Данта вырывает из небытия, заставляет вместе с ним двигаться вверх по вечной спирали времени к его высшей точке – к святой Софии – Богу Слова Христу, к страстному Кресту Голгофы, которому вместе с первыми залпами танков уступил место торжествующий, исцеляющий, напоминающий о вере и надежде воздвиженный Крест: “Но если впрямь в начале было Слово, // то, подлинно, сиять ему в конце!.. // Молчи – и жди пришествия Христова // в Садовом огнедышащем кольце. // В кольце Бульварном... Позднею обедней // не вспугнут чёрный морок октября, // и над страной восходит день последний – // едва ль не Гефсиманская заря...”

Безудержная вера, которая всегда помогала устоять в самых трудных обстоятельствах, заставляет поэта подняться над трагедией, над которой, казалось бы, подняться нельзя. Татьяна Глушкова знает: убить, расстрелять, сравнять с землёй пытались то, что *неубиваемо*. Так *неубиваем* дух. Так *неубиваем* Моцарт. Так *неубиваема* пронизывающая глубины бытия музыка. Так *неубиваема* Россия. Так *неубиваем* добровольно жертвующий своей жизнью человек. Так *неубиваем* Христос, смертию поправший на Кресте смерть. “Их души водворятся во благих!” – Слова реквиема звучат над расстрелянным Домом Советов молитвенным рефреном и призывным набатом: “Снег забинтует раненую Пресню. // Смотри: кругом – белó, и ветер стих. // Больная совесть обмирает с песнью: // “Их души водворятся во благих!”... Поражения Татьяна Глушкова принять не могла. Ей нужны были Родина и Победа. Ведь не может быть побеждён Бог. Не может быть побеждена Правда. Не может быть побеждён свет золотых куполов непостижимым образом оказавшейся “за границей” Софии Киевской. Дальнейшая жизнь Татьяны Глушковой – моление о Родине и о Победе. Я ещё раз обращусь к статье Владимира Бондаренко, которому удалось понять в Татьяне Глушковой нечто очень важное: “Татьяна Глушкова не пожелала жить на “лоскуте державы”. Она не стала пытаться переделать себя для иной России, чтобы обрести новое дыхание в поэзии третьего тысячелетия. Предпочла остаться в великом и трагическом XX веке. Все её споры с былыми друзьями были предельно искренними, ибо она и от них ждала той же “литературы последнего срока”, тех же последних, завершающих слов, которые в последние годы жизни выговаривала, выкрикивала, ожидая апокалиптических видений, непримиримости к разрушителям Родины...” Девятое мая становится для Татьяны Глушковой скорбной датой. В разные годы одно за другим она пишет стихи о парадах Победы. Они разнятся по настроению и смыслу, но, объединённые названиями, образуют большой, намеренно разрозненный, стержневой, пронизывающий и объединяющий цикл. “Осенний парад” (7 ноября 1990 года): “... Русское воинство! Родина наша // в голоде, в братской крови”; “К 9 Мая 1995 года”: “Парад Позора! Не моим глазам // глядеть, не моему склоняться слуху, // внимая, как Великую Разруху// кимвалы славят и пирует срам...” “Прощальный парад” (6 апреля 1995): “... Не плачьте, вы ни в чём не виноваты, // прошедшие священную войну! // Последний ваш парад... Такой закат, // как будто бы не солнце – уголь чадающий // садится в хмарь над Родиной скорбящей... // Ей выел очи прах её солдат”. В те годы крылья Музы Татьяны Глушковой окрасились в красный – цвет победного флага над Берлином, цвет флага ушедшей в прошлое Родины, цвет пролитой на Пресне крови, цвет Фасхи Христовой и цвет крыльев Софии – Премудрости Божьей, какой её изображают на новгородских иконах.

Но земное воплощение Софии – Премудрости Божьей – Церковь Христова. А первая мудрость, заповеданная Богом человеку, – это покаяние. В трудные, тёмные годы, наступившие после октябрьских событий 1993-го, Татьяна Михайловна Глушкова делает самое главное в своей жизни – она приходит в церковь и приносит покаяние. Делает она это с теми же максимальными самоотдачей и духовным напряжением, с какими делала всё на своём земном пути. Точнее – не так: горение, напряжение и самоотдача доходят до высшей точки, ведь речь идёт о главной человеческой ценности – о Христе. Она находит силы продолжать и свои обычные литературные занятия. В сгустившейся над страной тьме, как всегда, на помощь приходит русская классика. Живыми собеседниками поэта становятся Некрасов и Грибоедов, которым – неожиданно и впервые в русской поэзии – посвящены не циклы

стихотворений, а две поэтических книги. Но главное, как всегда, — Пушкин. В 1995 году пишется редкий по глубине и точности мысли цикл “Русские границы”, дающий ответы на главные русские вопросы — какова природа русской державности, русского подвига, русского тысячелетнего стояния в вере, русской тяги к безоглядным пространствам и шири. “Но Пушкин — нет, он не приветит вас: // он не жил так — на лоскуте державы!” — даёт Глушкова победный ответ расхитителям русских пространств. “Он слушал орудийную пальбу // близ Карса и бунтующей Варшавы // и проник, что Цареграда главы // могли б венчать российскую судьбу...” Пушкин понимается поэтом как плод великого труда всей державы, всей русской истории, всего русского народа: “Он не зырянин, финн или лопарь, // он гордый сын раздольного славянства. // Величие духа требует пространства, // так повелел не Пётр — Небесный Царь! // И надобны кавказские хребты, // охотские, арктические воды, // чтоб вызрел многоликий дух свободы, // восстав из колыбельной тесноты. // И надобен чухонский топкий берег // и высохший фонтан Бахчисарая, // чтоб эта Муза, смуглая, босая, // столетиями, широтами играя, // дичась, от любопытства ли сгорая, // ступила на псковской уездный снег...” Какой чеканный, отточенный слог! Какая безупречная острота и стройность мысли! История и культура России понимаются Глушковой как живое всенародное восхождение к Христу, общий труд и общая молитва, стояние у Креста, а художник — как плод истории и народной жизни, отразившийся в земном слове голос Бога Слова — Премудрости Божией. Великая культура — плод великой Державы, и обе они — плоды великой веры, без которой не может быть ничего. “Нам пишется на краешке стола? // Нам хватит дести жёваной бумаги? // Всё так! — доколе реют наши флаги, // мелькают веси, грады, буераки, // три океана дыбятся во мраке // и рекам, звёздам, вёрстам — несть числа!”

И ещё один раз выпала Татьяне Глушковой скорбная честь написать реквием. На этот раз — по русскому Моцарту Георгию Свиридову. Вместе с музыкой Свиридова в её поэзию врывается пушкинская и свиридовская “Метель”, блоковская всеобъемлющая вьюга, заметающая русские дороги. Впереди в метели — видимый и невидимый Христос. Вряд ли, зная, что писала Т. Глушкова об образе Христа в поэме “Двенадцать”, можно сказать, что это блоковский Христос. Образ Христа в снежном вихре постоянно изменяется — это и Распятый Христос, и Пантократор Киевской Софии, Христос русской государственности, держащий в Своей деснице все миры и дороги, все бураны и вьюги, и тютчевский крестьянский Царь Небесный, в рабском виде исходивший родную землю. “Ушёл тот, кто казался последним высоким столпом русской культуры, гранитной её опорой, последним бесспорным носителем Творческого Духа. Что ж теперь?.. — пишет она в предисловии к циклу “Музыка на святки”. — ...Русский реквием по Свиридову да сверкнёт крупичами света, да взлеет зерно, из которого солнечным звуком прорастёт мощный гимн воскрешённой России”. Всё та же несокрушимая, безоглядная вера: ведь Моцарт — неубиваем, как неубиваема Родина, как неубиваем дух, как непобедим Христос, идущий в русской метели. А значит, и реквием по русскому гению должен превратиться в гимн воскрешённой России. “И снова — музыка, и Пушкин, // и вскрик, и струнные лучи”. Музыка Свиридова возвращает из разрушенного мира в пространство вечной России, в пространство родного: “Венчанье тайное... Побег... // И эта сельская церквушка. — // Иисуса русского избушка... // О, как заплакана подушка! // И мечется метельный снег”. Музыка пишется детально, вещно, неперебиваемое в слова Глушкова пытается передать образами “Руси уездной, снеговой, // той, что почти у Лукоморья...”; “не станет книг, не будет слов, // но предреку — не обессудьте: // он сам соткётся на безлюдье, // склудится яблочком на блюде, // мотив пылающих снегов!” А лежащий в гробу Свиридов “...похож уже на Данта: // так важен, строг запавший рот, — // седой подругой музыканта // не вьюга ль русская слывёт?..” Это Дант, идущий по кругам русской вьюги, русского бурана. Границы того и этого света в стихотворном цикле размыты, как размыты они в современной поэту России, устремившейся в наступившей тьме по ту сторону бытия, как размыты они в русской метели: “Да и вороны не кричат... // Лишь древней колокольни звоны. // И не распев — набат, набат: // по всей России — похороны! // По всей Руси текут ручьи // живых, бредущих за гробами, // а мнитя: чёрные грачи — // за боронами, боронами...”

Невольно вспоминаются строки из стихотворения Татьяны Глушковой, посвящённого Борису Примерову: “Друзья мои, друзья мои, друзья, — // кричал мой дух, — я тоже умираю!” Рядом со Свиридовым она себя упомянуть не посмела. Но таково мироощущение её последних лет. Поэтому нетрудно предположить, что реквием по Свиридову — это и личное прощание Татьяны Глушковой с Россией, с земной жизнью и со всем главным, что в ней было: с музыкой пушкинского стиха, мыслью Леонтьева, музыкой Свиридова, куполами Киевской Софии, с великой русской культурой. Это уход в русскую метель, исчезание в бесконечной русской замети, вьюге русского лихолетья, впереди которой всегда идёт Христос. Ибо Татьяна Глушкова точно знает:

*Когда не стало Родины моей,
Тот, кто явился к нам из Назарета,
осиротел не менее поэта
последних сроков Родины моей.*

“Этот год и последующие годы как продолжение 93-го — вся её оставшаяся жизнь — воспринимаются как стояние у Креста Христова, — пишет протоиерей Александр Шаргунов в статье “Её душа была истинно русской” (“Русский дом”, апрель 2005). — ... За это стояние до конца у Креста Христова, а не потому, что она умерла на первой Пасхальной неделе нового тысячелетия, — внешнее здесь просто соединилось с внутренним — веруем, душа её принята в светлые райские обители. Но и оттуда мы слышим её голос любви к Отчизне... Но тот, кто стоял у Креста Христова, знает, что Христос всё победил, и смысл каждой человеческой жизни и всей истории заключается во вхождении крестным путём в Его победу”. Победа всё-таки была дарована Татьяне Глушковой. Причём — главная из всех возможных Побед. Вот это-то вхождение в Христову Победу и собрало в единую мозаику казавшиеся разрозненными куски смальты, свело воедино все разрозненные тропы, и перед нами открылся удивительный храм человеческой судьбы, как и все человеческие судьбы, задуманный Премудростью Божией, — судьбы, где нет ничего случайного и лишнего, но каждый кусок смальты ложится на предназначенное для него в мозаике место. Так устрояющая всё София — Премудрость Божия устроила жизнь вглядывавшейся в её камни девочки Тани, Татьяны Михайловны Глушковой — выдающегося русского критика, поэта и публициста. Устроила жизнь, в которой было всё: творчество, любовь, слава, гонения, болезни, искания, прозрения, ошибки, грехи, покаяние и стояние у Креста. “Концы вселенная, и вся, яже на ней, и небо небесем Премудрость основа, Та бо всех нас созда, Тою цари царствуют, и сильнии держат землю, и мудрые пишут правду”.

Исправление: в 11-м номере журнала на стр. 142 в примечании к тексту в 11-й строке снизу следует читать “Записки из подполья”.